

Владимир Владимирович НАБОКОВ (1899-1977)

«Как выглядит пламя после того, как задует свечу?» — спрашивала себя Алиса из книги Льюиса Кэрролла.

Как пахнет степной колокольчик, засушенный в старой книге много лет назад?

Как расслышать «молчанье зерна», прорастающего в тёплой почве?

Как уловить «полёт страницы, соскользнувшей при дуновенье со стола»?

Есть такие волшебники, которые умеют это увидеть, услышать, почувствовать. Но ещё удивительней то, что, читая их книги, мы можем попасть в мир дуновений, прикосновений, благоуханий чьего-то прошедшего детства и прожить его так полно и радостно, как будто наяву.

В такой мир приводит читателя прекрасный писатель и переводчик, настоящий волшебник — Владимир Владимирович Набоков.

С ним так замечательно дружить, вслушиваться в его неповторимую речь, стараться не пропустить ничего, потому что в этом мире, куда ты попадаешь вместе с Набоковым, важно всё: интонация, цвет, запах, едва уловимый звук. С ним можно даже поиграть в какую-нибудь игру, в шахматы, например. Эта игра была его любимой. Можно вместе с ним пробежать по лугу за чудесной бабочкой (бабочки — тоже увлечение всей его жизни). Можно сходить с ним в лес, пронизанный дождём, и набрать огромную корзину «телесного цвета грибов»...

Этот мир воссоздан Набоковым не в одной книге. Он оживает почти во всех его «взрослых» романах (Набоков не писал для детей, помимо одного исключения — перевёл на русский язык книгу Льюиса Кэрролла и назвал её «Аня в стране чудес»).

Он — взрослый писатель. Но все взрослые были когда-то детьми, и часто их воспоминания о детстве становятся той страной, в которую они хотели бы когда-нибудь приехать.

Для Набокова это была не только вымечтанная, но и вполне реальная страна — Россия.

Он родился в Санкт-Петербурге. Во время революции его семья уехала в Англию. Он жил в Германии, Франции, Швейцарии, США. Он больше никогда не увидел Россию, свой дом. Он ходил по улицам чужих прекрасных городов, слышал чужую речь, потихоньку рождался с ней. Потом писал книги на английском языке и стал очень знаменитым писателем там, на новой земле.

Но в снах, и в стихах, и в книгах он всегда жил у себя в детстве, в России. Его любовь к ней была так велика, что сквозь толщу времени и расстояний он мог видеть, как

В осенний день, блистая, как стекло,
Потрескивая крыльями, стрекозы
Над лугом вьются. В Оредж глядится
Сосновый лес, и тот, что отражён, —
Яснее настоящего...¹

Ольга Нестерова

¹ Стихи В. Набокова.

Другие Берега

Отрывок из романа

Частые детские болезни особенно сближали меня с матерью. В детстве, до десяти, что ли, лет, я был отягощён исключительными, и даже чудовищными, способностями к математике, которые быстро потускнели в школьные годы и вовсе пропали в пору моей, на редкость бездарной во всех смыслах, юности (от пятнадцати до двадцати пяти лет). Математика играла грозную роль в моих ангинах и скарлатинах, когда, вместе с расширением термометрической ртути, беспощадно пухли огромные шары и многозначные цифры у меня в мозгу. Неосторожный гувернёр поторопился объяснить мне — в восемь лет — логарифмы, а в одном из детских английских журналов мне попала статья про феноменального индуса, который ровно в две секунды мог извлечь корень семнадцатой степени из такого, скажем, приятного числа, как 3529471145760275132301897342055866171392 (кажется, 212, но это не важно). От этих монстров, откормленных на моём бреде и как бы вытеснявших меня из себя самого, невозможно было отделаться, и в течение безнадежной борьбы я поднимал голову с подушки, силясь объяснить матери моё состояние. Сквозь мои смещённые логикой жара слова она узнавала всё то, что сама помнила из собственной борьбы со смертью в детстве, и каким-то образом помогала моей разрывающейся вселенной вернуться к Ньютону классическому образцу...

После долгой болезни я лежал в постели, размаянный, слабый, как вдруг нашло на меня блаженное чувство лёгкости и покоя. Мать, я знал, поехала купить мне очередной подарок: планомерная ежедневность приношений придавала медленным выздоравливаниям и прелесть и смысл. Что предстояло мне получить на этот раз, я не мог угадать, но сквозь магический кристалл моего настроения я со сверхчувственной ясностью видел её санки, удалявшиеся по Большой Морской по направлению к Невскому (ныне Проспекту какого-то Октября, куда вливается удивлённый Герцен). Я различал всё: гнедого рысака, его храп, ритмический щёлк его мошны и твёрдый стук комьев мёрзлой земли и снега об передок. Перед моими глазами, как и перед материнскими, ширился огромный, в синем сборчатом ватнике, кучерской зад, с путевыми часами в кожаной оправе на кушаке; они показывали двадцать минут третьего. Мать в вуали, в котиковой шубе, поднимала муфту к лицу грациозно-гравюрным движением нарядной петербургской дамы, летящей в открытых санях; петли медвежьей полсти были сзади прикреплены к обоим углам низкой спинки, за которую держался, стоя на запятках, выездной с кокардой.

Не выпуская санок из фокуса ясновидения, я остановился с ними перед магазином Треймана на Невском, где продавались письменные принадлежности, аппетитные игральные карты и безвкусные безделушки из металла и камня. Через несколько минут мать вышла оттуда в сопровождении слуги: он нёс за ней попку, которая показалась мне обыкновенным фаберовским карандашом, так

что я даже удивился и ничтожности подарка, и тому, что она не может нести сама такую мелочь. Пока выездной запахивал опять полсть, я смотрел на пар, выдыхаемый всеми, включая коня. Видел и знакомую ужимку матери: у неё была привычка вдруг надуть губы, чтобы отлепилась слишком тесная вуалетка, и вот сейчас, написав это, нежное сетчатое ощущение её холодной щеки под моими губами возвращается ко мне, летит, ликуя, стремглав из снежно-синего, синеоконного (ещё не спустили штор) прошлого.

Вот она вошла ко мне в спальню и остановилась с хитрой полуулыбкой. В объятиях у неё большой, удлинённый пакет. Его размер был так сильно сокращён в моём видении оттого, может быть, что я делал подсознательную поправку на отвратительную возможность, что от недавнего бреда могла остаться у вещи некоторая склонность к гигантизму. Но нет: карандаш действительно оказался жёлто-деревянным гигантом. Около двух аршин в длину и соответственно толстый. Это рекламное чудовище висело в окне у Треймана как дирижабль, и мать знала, что я давно мечтаю о нём, как мечтал обо всём, что нельзя было, или не совсем можно было, за деньги купить (приказчику пришлось сначала снестись с неким доктором Либнером, точно дело было и впрямь врачебное). Помню секунду ужасного сомнения: из графита ли остриё, или это подделка? Нет, настоящий графит. Мало того, когда несколько лет спустя я просверлил в боку гиганта дырку, то с радостью убедился, что становой графит идёт через всю длину: надобно отдать справедливость Фаберу и Либнеру, с их стороны это было сущее «искусство для искусства»...

Летние сумерки («сумерки» — какой это томный сиреневый звук!). Время действия: тающая точка среди первого десятилетия нашего века. Место: пятьдесят девятый градус северной широты, считая от экватора, и сотый восточной долготы, считая от кончика моего пера. Июньскому дню требовалась вечность для угасания: небо, высокие цветы, неподвижные воды — всё это как-то повисало в бесконечном замирании вечера, которое не разрешалось, а продлевалось ещё и ещё грустным мычанием коровы на далёком лугу или грустнейшим криком птицы за речным низовьем, с широкого туманного мохового болота, столь недосягаемого и таинственного, что ещё дети Рукавишниковы прозвали его: Америка.

Брата уже уложили; мать, в гостиной, читает мне английскую сказку перед сном. Подбираясь к страшному месту, где Тристана ждёт за холмом неслыханная, может быть роковая, опасность, она замедляет чтение, многозначительно разделяя слова, и, прежде чем перевернуть страницу, таинственно кладёт на неё маленькую белую руку с перстнем, украшенным алмазом и розовым рубином; в прозрачных гранях которых, кабы зорче тогда гляделось мне в них, я мог бы различить ряд комнат, людей, огни, дождь, площадь — целую эру эмигрантской жизни, которую предстояло прожить на деньги, вырученные за это кольцо.

Были книги о рыцарях, чьи ужасные — но удивительно свободные от инфекции — раны омывались молодыми дамами в гротах. Со скалы, на средневековом ветру, юноша в трико и волнистоволосая дева смотрели в даль на круглые

Острова Блаженства. Была одна пугавшая меня картинка с каким-то зеркалом, от которой я всегда так быстро отворачивался, что теперь не помню её толком! Были нарочито трогательные, возвышенно аллегорические повести, скроенные малоизвестными англичанками для своих племянников и племянниц...

Проснёшься, бывало, летним утром и сразу, в отроческом трепете, смотришь: какова щель между ставнями? Ежели водянисто-бледна, то валишься назад на подушки: не стоит и растворять ставни, за которыми заранее видишь всю досадную картину — свинцовое небо, рябую лужу, потемневший гравий, коричневую кашу опавших соцветий под кустами сирени и преждевременно блёклый древесный листок, плоско прилипший к мокрой садовой скамейке! Но если ставни шурились от ослепительно-росистого сверканья, я тотчас принуждал окно выдать своё сокровище: одним махом комната раскалывалась на свет и на тень. Пропитанная солнцем берёзовая листва поражала взгляд прозрачностью, которая бывает у светло-зелёного винограда; еловая же хвоя бархатно выделялась на синеве, и эта синева была такой насыщенности, какую мне довелось опять насладиться только много лет спустя в горно-боровой зоне Колорадо.

Сыздетства утренний блеск в окне говорил мне одно, и только одно: есть солнце — будут и бабочки. Началось всё это, когда мне шёл седьмой год, и началось с довольно банального случая. На персидской сирени у веранды флигеля я увидел первого своего махаона — до сих пор аоническое обаяние этих голых гласных наполняет меня каким-то восторженным гулом! Великолепное, бледно-жёлтое животное в чёрных и синих ступенчатых пятнах, с попугаячьим глазком над каждой из парных чёрно-палевых шпор, свешивалось с наклонённой малиново-лиловой грозди и, упиваясь ею, всё время судорожно хлопало своими громадными крыльями. Я стонал от желанья. Один из слуг — тот самый Устин, который был швейцаром у нас в Петербурге, но почему-то оказался тем летом в Выре, — ловко поймал бабочку в форменную фуражку, и эта фуражка с добычей была заперта в платяной шкаф, где пленнице полагалось за ночь умереть от нафталина; но когда на другое утро Mademoiselle отперла шкаф, чтобы взять что-то, бабочка, с мощным шорохом, вылетела ей в лицо, затем устремила к растворённому окну, и вот, ныряя и рея, уже стала превращаться в золотую точку, и всё продолжала лететь на восток, над тайгой и тундрой, на Вологду, Вятку и Пермь, а там — за суровый Урал, через Якутск и Верхнеколымск, а из Верхнеколымска — где она потеряла одну шпору — к прекрасному острову Св. Лаврентия, и через Аляску на Доусон, и на юг, вдоль Скалистых Гор, где наконец, после сорокалетней погони, я настиг её и ударом рампетки «сбрил» с ярко-жёлтого одуванчика, вместе с одуванчиком, в ярко-зелёной роще, вместе с рощей, высоко над Боулдером...